

Азбука
PREMIUM

ЮКИО МИСИМА

Золотой Храм



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-44
М 65

Yukio Mishima
KINKAKUJI
Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1956
All rights reserved

Перевод с японского Григория Чхартишвили
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

ISBN 978-5-389-19761-9

© Г. Ш. Чхартишвили, перевод,
1993
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®

Глава первая

О Золотом Храме еще в раннем детстве рассказывал мне отец.

Родился я на отдаленном мысе, сиротливо уходящем в море к северо-востоку от Майдзуру. Отец был родом из других мест, его семья жила в Сираку, восточном пригороде Майдзуру. Уступив настояниям родных, он принял сан священника и стал настоятелем захолустного прибрежного храма. Здесь он женился, здесь появился на свет его сын — я.

На мысе Нарии не имелось даже школы, и, едва сойдя с колен матери, я был вынужден покинуть отчий дом и поселиться у дяди, брата отца, в Восточном Майдзуру. Там я и стал ходить в гимназию.

Родина моего отца оказалась краем, где круглый год щедро сияло солнце, но в ноябре и декабре по нескольку раз в день с небес — какими бы синими и безоблачными они ни были — низвергался

холодный осенний дождь. Уж не коварству ли погоды тех мест обязан я своим непостоянным и переменчивым нравом?

Майскими вечерами, вернувшись после уроков в дядин дом, я, бывало, сидел на втором этаже, в комнатке, отведенной мне для занятий, и глядел из окна на окрестные холмы. В лучах закатного солнца их склоны, укрытые молодой листвой, казались мне похожими на расставленные кем-то позолоченные ширмы. Я смотрел на них и представлял себе Золотой Храм.

Мне, конечно, много раз попадались фотографии и картинки в учебниках, на которых был изображен знаменитый храм, но в глубине души я представлял его себе совсем иным — таким, каким описывал его отец. О, он не говорил, что от стен святилища исходит золотое сияние, но, по его убеждению, на всей земле не существовало ничего прекраснее Золотого Храма, и, вслушиваясь в само звучание двух этих слов, замороженно глядя на два заветных иероглифа, я рисовал себе картины, не имевшие ничего общего с жалкими изображениями в учебнике.

Стоило мне увидеть, как ослепительно вспыхивает на солнце гладь дальних заливных полей, и мне уже казалось, что

это отсвет невидимого Золотого Храма. Горный перевал, по которому проходит граница нашей префектуры Киото и соседней Фукуи, высился прямо на восток от дядиного дома. Из-за тех гор по утрам восходило солнце. И хотя Киото располагался совсем в иной стороне, каждый раз мне чудилось, что в солнечном нимбе в утреннее небо возносится Золотой Храм.

Храм, оставаясь незримым, виделся мне во всем, и этим он был похож на море: деревня Сираку находилась в полтора ри¹ от побережья, и Майдзурская бухта лежала по ту сторону гор, но близкое присутствие моря ощущалось постоянно — ветер доносил его запахи, в непогоду тысячи чаек прилетали с берега и садились на рисовые поля.

Я был хилым, болезненным ребенком, самым что ни на есть последним во всех мальчишеских играх и забавах. Это да еще мое врожденное заикание отдаляло меня от других детей, развивало замкнутость и любовь к уединению. К тому же все мальчишки знали, что я сын священника, и их любимым развлечением было дразнить меня, изображая, как заикающийся бонза бормочет сутры. На уроках чтения, если в книге действовал персо-

¹ Мера длины, равная 3,927 км.

наж-заика, все его реплики непременно зачитывались вслух — специально для меня.

Неудивительно, что заикание воздвигало стену между мной и окружающим миром. Труднее всего давался мне первый звук слова, он был вроде ключа от той двери, что отделяла меня от остальных людей, и ключ этот вечно застревал в замочной скважине. Все прочие свободно владели своей речью, дверь, соединяющая их внутренний мир с миром внешним, всегда была нараспашку, и вольный ветер гулял туда и обратно, не встречая преград. Мне же это раз и навсегда было заказано, мне достался ключ, изъеденный ржавчиной.

Заика, сражающийся с первым звуком слова, похож на птичку, бьющуюся в отчаянных попытках вырваться на волю из силка — силка собственного «я». В конце концов птичка вырвется, но будет уже поздно. Иногда, правда, мне казалось, что внешний мир согласен ждать, пока я бьюсь и трепещу крылышками, но, когда дверь удавалось открыть, мгновение уже утрачивало свою неповторимую свежесть. Оно увядало, блекло... И мне стало казаться, что иначе и быть не может, — поблекшая, подгнившая реальность в самый раз подходит такому, как я.

Нет ничего странного в том, что в отрочестве меня преследовали соблазнительные и противоречивые грезы о власти, вернее, о двух разных видах власти. То, начитавшись исторических романов, я воображал себя могущественным и жестоким владыкой. Он заикается и поэтому почти всегда молчит, но как же трепещут подданные, живущие в постоянном страхе перед этим молчанием, как робко заглядывают в лицо своему господину, пытаясь угадать, что их ждет — гнев или милость? Мне, государю, ни к чему оправдывать свою беспощадность гладкими и звучными фразами, само мое молчание объяснит и оправдает любую жестокость. С наслаждением воображал я, как одним движением бровей повелеваю предать лютой казни учителей и одноклассников, мучивших меня в гимназии. И еще нравилось мне представлять себя владыкой иного рода — великим художником, повелителем душ, молча созерцающим Вселенную. Так, несмотря на жалкую свою наружность, в глубине души я считал себя богаче и одареннее всех сверстников. Да это, наверное, и естественно — каждый подросток, имеющий физический изъян, мнит себя тайно избранным. Не был исключением и я — я знал, что впереди меня ждет пока неведомая, но великая миссия.

...Мне вспоминается такой случай.

Гимназия находилась в новом, светлом здании, удобно расположившемся на широком пространстве меж плавных холмов.

В один из майских дней к нам в гимназию пришел бывший ученик, а ныне — курсант Майдзурского военно-морского инженерного училища, отпущенный домой на побывку. Мне этот юноша казался молодым богом, до того он был хорош: загорелое лицо, надвинутая на самый нос фуражка, мундир с иголки. Гимназисты обступили курсанта плотной толпой, а он живописал им тяготы военной жизни. Однако в его устах убогая эта жизнь представляла захватывающей и героической. Вид курсант имел весьма важный и на гимназистов поглядывал снисходительно, свысока. Грудь колесом, затянута в расшитый мундир, напоминала резную фигуру на носу корабля, рассекающего океанские волны.

Курсант сидел, небрежно развалившись, на каменных ступеньках лестницы, ведущей на плац. Вокруг собралась кучка замороженных слушателей, раскинувшийся на склоне цветник пылал майскими цветами — тюльпанами, душистым горошком, анемонами, маками. Выше, над лестницей, благоухала усыпанная белыми цветами магнолия.

Группа, собравшаяся на ступенях, застыла неподвижно, как изваяние. Я же сидел один, немного в стороне, на скамейке, в почтительном благоговении — перед великолепием майских цветов, гордого мундира и громких, веселых голосов.

Однако молодой бог все чаще поглядывал в мою сторону. Видимо, он счел, что я один не признаю его превосходства, и чувствовал себя слегка уязвленным. Он спросил у восхищенных гимназистов, как меня зовут, и крикнул:

— Эй, Мидзогути!

Я молча смотрел на него. Курсант снисходительно рассмеялся:

— Ну, что молчишь? Или ты глухой?

— Я з-з-з-заика, — передразнил меня один из соучеников, и все остальные зашлись от хохота. Как ослепителен издевательский смех! Звонкий, по-детски жестокий хохот моих одноклассников всегда напоминал мне вспыхивающие на солнце стебли травы.

— Так ты заика? Надо тебе в наше училище поступать — там из тебя эту дурь в два счета выбьют.

И тут ответ выскочил у меня сам собой, помимо моей воли, я даже не заикнулся:

— Нечего мне делать в училище. Я стану монахом.

Все умолкли, а молодой бог, наклонившись, сорвал травинку и сунул ее в рот.

— Понятно. Значит, через год-другой придется тебе молиться за упокой моей души.

В ту пору война на Тихом океане уже началась.

...Внезапно на меня снизошло нечто вроде озарения. Мне представилось, что я стою один перед темным миром с широко распростертыми руками. И что весь этот мир — и его майские цветы, и блестящие мундиры, и мои безжалостные одноклассники — в один прекрасный день сам упадет в мои ладони. Мне открылось, что мир крепко схвачен мною, зажат в моих руках... Откровение не вызвало во мне чувства гордости, слишком уж тягостным было оно для подростка.

Гордость — нечто более легкое, светлое, открытое глазу, искрящееся. Мне хотелось обладать чем-то таким, что давало бы мне право гордиться и было видно каждому. Хотя бы кортиком, висевшим на поясе у *него*.

Кортик, на который с благоговением взирали гимназисты, действительно был хорош. Поговаривали, правда, что курсанты нередко затачивают своими кортиками карандаши, но до чего же это

было лихо — использовать столь гордый символ для дела тривиального и низменного!

А потом мундир курсанта инженерного училища был повешен на выкрашенный в белый цвет забор. Там же оказались брюки, рубашка, нижнее белье... От всей этой одежды, развешанной меж цветов, пахло молодым потом. На сияющую ослепительно-белым цветом рубашку опустилась пчела. Украшенная золотым галуном фуражка была водружена на одном из прутьев изгороди так же ровно и основательно, как если бы она красовалась на голове своего владельца. А сам курсант отправился на посыпанный песком ринг для сумо — кто-то из гимназистов предложил ему побороться.

Я смотрел на снятую одежду, и мне казалось, что я вижу перед собой некую увенчанную славой могилу. Обилие майских цветов еще более усиливало это впечатление. Лирическим очарованием веяло от фуражки со сверкающим черным лаком козырьком, от кожаной портупей и кортика — отделенные от тела своего хозяина, они были не менее совершенны, чем он сам. Мне они казались реликвиями, оставшимися после гибели юного героя.

Оглядевшись по сторонам, я убедился, что поблизости никого нет. Со сто-

роны ринга доносились азартные крики. Тогда я достал из кармана ржавый перочинный ножик, подкрался к забору и сделал на прекрасных черных ножнах кортика несколько уродливых царапин...

Быть может, прочтя эти строки, читатель решит, что я был мальчиком с поэтической натурой. Однако я никогда не писал стихов, даже дневника не вел. Я не испытывал стремления восполнить то, в чем уступал окружающим, какими-либо другими достоинствами, только бы выделиться из толпы. Иными словами, я был слишком высокомерен, чтобы стать человеком искусства. Грезы о владычестве — над людскими судьбами или душами — так и оставались грезами, я палец о палец не ударил, чтобы приступить к их осуществлению.

Никто из людей не в состоянии меня понять — именно это сознание давало мне ощущение исключительности, вот почему во мне и не могло возникнуть желания как-то самовыразиться, сделаться понятным другим. Я верил — мне самой судьбой предназначено не обладать ничем таким, что может быть доступно постороннему взгляду. И одиночество мое росло и разбухало, как откармливаемая на убой свинья.

В моей памяти всплывает один трагический эпизод, случившийся в нашем

селении. Казалось бы, он не имел ко мне ни малейшего отношения, однако чувство, что я был им затронут, что я принимал в тех событиях самое непосредственное участие, живо во мне до сих пор.

Столько всякого открылось мне через тот случай — жизнь, страсть, измена, ненависть, любовь и еще многое. Но моя прихотливая память закрывает глаза на то величественное, что несомненно таилось в основе произошедшей трагедии...

Через два дома от дядиного жила красивая девушка. Ее звали Уико. Глаза у нее были большие и ясные-ясные. Держалась она всегда неприступно, — может, оттого, что ее семья считалась в деревне зажиточной. Уико все обожали, просто на руках носили, но чувствовалась в ней какая-то скрытность — трудно было предположить, о чем она думает, оставаясь одна. Ревнивые деревенские сплетницы утверждали, что именно из таких вот получают бесплодные женщины-ледышки, хотя Уико явно была еще девушкой.

Едва окончив гимназию, Уико добровольно поступила медсестрой в Майдзурский военно-морской госпиталь. Это было не так далеко, и на работу она могла ездить на велосипеде. Выезжать из дому ей приходилось еще затемно, часа за два до того, как просыпались мы, школьники.

Однажды вечером я не мог уснуть, предаваясь мрачным фантазиям о теле Уико, а на исходе ночи выскользнул из своей комнаты, надел гимнастические тапочки и шагнул за дверь, в летние пред-рассветные сумерки.

В ту ночь я не впервые грезил о ее теле. Мимолетные поначалу мечты преследовали меня все чаще и определенной, и так же определенно стало видеться мне белое и упругое тело Уико, ее благоуханная плоть. Я представлял, как загорятся огнем мои пальцы, коснувшись ее. Представлял пружинящую податливость кожи, аромат цветочной пыльцы.

Я стремительно несся по тропинке. Камни не замедляли мой бег, темнота не закрывала от меня дороги.

Вот тропинка стала шире, она петляла по окраине маленькой деревеньки. Там росла огромная дзельква. Ствол дерева был мокрым от росы. Я спрятался у его подножия и стал дожидаться, когда появится Уико на своем велосипеде.

Я просто ждал, никаких определенных намерений у меня не было. Несся я сюда со всех ног, но теперь, затаившись в густой тени дзельквы, понятия не имел, что делать дальше. Слишком долго существовал я вне всякой связи с внешним миром; именно этим, видимо, следует объяснить странную иллюзию, что до-

статочно мне очертя голову кинуться в этот самый внешний мир, и все сразу станет возможным и доступным.

Комары кусали мне ноги. Из деревушки доносились крики петухов. Я вглядывался в сумрак. Вдали над дорожкой маячило что-то смутное и белое. Вначале мне показалось, что это просто рассвет, но то была Уико.

Она ехала на велосипеде, во мраке светилась зажженная фара. Велосипед беззвучно скользил по дорожке. И тут я выскочил ему наперерез из-за ствола дерева — Уико едва успела нажать на тормоз.

Я словно обратился в камень. Мысли и воля застыли во мне. Нет, мой внутренний мир никак не желал соприкасаться с миром внешним — тот, незабываемый, окружая меня со всех сторон, существовал сам по себе. Я выбрался из дядино дома, надел спортивные тапочки, бежал во весь дух по тропинке, прятался за ствол дзельквы, — оказывается, все эти действия не выходили за пределы моего внутреннего «я». И едва различимые в предрассветном полумраке контуры крыш, и черные силуэты деревьев, и темные вершины гор, и даже стоявшая передо мной Уико вдруг непонятным и пугающим образом оказались лишеными всякого смысла. Все вокруг, не дожидаясь моего участия, обрело реаль-

ность, и эта бессмысленная, нехватная, сумеречная реальность с неведомой мне доселе тяжестью разом обрушилась на меня.

Как всегда, я решил, что только слова могут вызволить меня из нелепого положения. Моя всегдашняя ошибка. Вечно, когда необходимо действовать, я думаю только о словах. А слова срываются с моих губ с таким невероятным трудом, что сил на действие уже не остается. Мне казалось, что ослепительное великолепие действия непременно должно сопровождаться ослепительным великолепием слова.

Я ничего перед собой не видел. Однако, как мне вспоминается, Уико, вначале напуганная моим неожиданным появлением, увидев, что это я, смотрела только на мой рот, на маленькую темную дыру, грязную, как норка полевой мыши; дыра бессмысленно дергалась и дрожала в темноте. И, увидев, что эта дыра лишена силы, способной связать ее с окружающим миром, Уико успокоилась.

— Ты что! — воскликнула она. — Ну и шутки! Зайка чертов!

Голос ее был свеж и уверен, как утренний ветер. Тренькнув звонком, Уико поставила ногу на педаль. Объехала меня стороной, словно камень, лежащий посреди тропы. На дорожке в этот час не

было ни души, но Уико, уносясь прочь, насмешливо брэнчала и брэнчала своим звонком.

В тот же вечер мать Уико пришла жаловаться на меня дяде. На следующий день дядя, всегда такой тихий и спокойный, жестоко изругал меня. И я проклял Уико и стал желать ей смерти, а несколько месяцев спустя проклятие мое сбылось. С той поры я твердо верю в силу проклятий.

Я желал смерти Уико, ложась вечером спать и просыпаясь утром. Я молился, чтобы она, свидетель моего позора, раз и навсегда исчезла с лица земли. Да если бы вокруг не было свидетелей, стыду не нашлось бы места на земле! Все люди — свидетели. Не было бы людей, не возникло бы и позора. В тот предрассветный час в облике Уико, где-то по ту сторону ее мерцающих холодным блеском глаз, что изучающе смотрели на мои губы, я разглядел весь этот мир других людей — мир, никогда не оставляющий нас одних, подсовывающий соучастников и свидетелей наших преступлений. Надо уничтожить всех других людей. Для того чтобы я мог открыто поднять лицо к солнцу, мир должен рухнуть...

Месяца через два после доноса на меня Уико ушла из госпиталя и вернулась

насовсем в родительский дом. По деревне поползли самые разные сплетни. А в конце осени произошла та история.

...Никто из деревенских и не подозревал, что в наших местах скрывается беглый матрос. Однажды в сельскую управу пришли жандармы. Их появление не было такой уж редкостью, и никто не обратил на них особого внимания.

Стоял ясный день, какие часто выпадают в конце октября. Я, как обычно, пришел из гимназии, сделал уроки и уже готовился укладываться спать. Прежде чем погасить лампу, я случайно взглянул на улицу и замер: по ней собачьей сворой бежала толпа людей. Я бросился вниз по лестнице. У дверей дома стоял один из моих одноклассников с круглыми от возбуждения глазами. Он крикнул нам — мне и разбуженным шумом дяде и тете:

— Жандармы схватили Уико! Бежим смотреть!

Сунув ноги в гэта, я помчался за ним. Ярко светила луна, легкие, прозрачные тени лежали на убранных рисовых полях.

Под деревьями копошились темные фигуры. Уико, одетая в черное платье, сидела прямо на земле. Лицо ее выделялось в темноте белым пятном. Рядом стояли ее родители и несколько жандармов.

Один из них сердито кричал, размахивая каким-то узелком. Отец Уико беспомощно вертел головой, то прося прощения у жандармов, то обрушиваясь с упреками на дочь. Мать рыдала, закрыв лицо руками.

Мы наблюдали эту сцену с соседнего участка рисового поля. Зрителей становилось все больше, мы молча стояли, касаясь друг друга плечами, и смотрели. Маленькая, словно выжатая, луна сияла над нашими головами.

Одноклассник шепотом рассказал мне, как было дело.

Жандармы ждали в засаде, когда Уико, прихватив узелок с едой, шла по направлению к соседнему поселку. Еда, вне всякого сомнения, предназначалась для прячущегося дезертира. Оказывается, Уико сошлась с ним, еще работая в госпитале, забеременела и была за это отчислена из медсестер. Жандармы требовали, чтобы Уико отвела их туда, где прячется дезертир, но та упорно молчала и не трогалась с места...

Я неотрывно смотрел на белое лицо Уико. Вид у нее был такой, словно она лишилась рассудка. Лицо, освещенное луной, застыло неподвижной маской.

Никогда еще мне не приходилось видеть выражения такого отречения от всего и вся. Я всегда считал, что мир оттор-

гает мое лицо, но лицо Уико — оно само отринуло весь мир. Лунный свет безжалостно лился на ее лоб, глаза, нос и щеки, но лицо оставалось неподвижным, свет просто как бы стекал по нему. Если бы Уико хоть чуть-чуть дрогнула ресницами или шевельнула губами, мир, который она пыталась отринуть, принял бы это движение за проявление слабости и раздавил бы ее.

Боясь вздохнуть, смотрел я на Уико. Ее лицо не имело ни прошлого, ни будущего, оно замкнулось в молчании. Нечто подобное можно иногда увидеть на срезе только что срубленного дерева. Древесина еще свежа и полна жизни, но рост ее уже оборвался; ее волокна, сокрытые прежде, теперь выставлены под солнце и дождь — каким странным выглядит это прекрасное лицо дерева, подставленное ударам чуждого ему мира. Лицо, явившееся этому миру только для того, чтобы его отринуть...

Никогда еще черты Уико не были так хороши, и мне подумалось: вряд ли я когда-нибудь увижу нечто, столь же прекрасное. Но этот восхитительный миг оказался кратким. Лицо Уико вдруг переменялось.

Она поднялась на ноги. Мне почудилось, что Уико рассмеялась. Я не мог ошибиться — в лунном свете блеснули

ее зубы. Больше мне нечего сказать о происшедшей с этим лицом перемене, потому что Уико отвернулась от лунного света и исчезла в густой тени деревьев.

Жаль, что я так и не разглядел толком, как менялся облик девушки в момент, когда она решилась на предательство. Если бы только я это видел, быть может, во мне родилось бы прощение — прощение человека и всех его мерзостей.

Уико указала рукой на гору Кахара.

— Он прячется в храме Конго! — закричал кто-то из жандармов.

И тут во мне возникло шальное, радостное возбуждение, как у ребенка в день праздника. Жандармы разделились на несколько групп и окружили горный храм со всех сторон. Для этого им понадобилась помощь жителей деревни. Снедаемый чувством мстительного любопытства, я присоединился к мальчишкам, которые пошли с первой группой, — ее вела сама Уико. Меня поразило, до чего же твердо ступала она по залитой лунным светом тропе; следом за ней шагали жандармы.

Храм Конго был одной из местных достопримечательностей. Он притулился под горой, минутах в пятнадцати ходьбы от поселка. Славился храм древним деревом, посаженным некогда са-

мим принцем Такаока¹, а также чудесной трехъярусной пагодой, которую, по преданию, возвел прославленный Дзингоро Хидари². Летом я часто плескался неподалеку отсюда, у водопада под горой.

Глинобитная стена, окружавшая главное здание храма, тянулась вдоль берега ручья. Ее обветшалый гребень порос мискантом, белые стебли которого сияли, подсвеченные луной. Перед воротами пышно цвели камелии.

Мы молча шагали по берегу. Здание храма Конго было над нами. Справа, за бревенчатым мостиком, возвышалась трехъярусная пагода, слева шумела красной осенней листвой роща, а за деревьями начиналась знаменитая лестница из ста пяти ступеней, покрытых мхом. Вытесанные из известняка ступени были скользкими.

Прежде чем шагнуть на мостик, главный жандарм обернулся и взмахом руки велел нам остановиться. По преданию, некогда на этом месте стояли две статуи стражей врат, созданные знаменитыми ваятелями Ункэем и Танкэем. Отсюда начинались владения храма.

¹ *Принц Такаока* (799–865) — первый японец, совершивший путешествие в Индию и Юго-Восточную Азию.

² *Дзингоро Хидари* (1594–1651) — зодчий и скульптор.

Мисима Ю.

М 65 Золотой Храм : роман / Юкио Мисима ; пер. с яп. Г. Чхартишвили. — СПб. : Азбука, Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. — 384 с. — (Азбука Premium).

ISBN 978-5-389-19761-9

Роман знаменитого японского писателя Юкио Мисимы «Золотой Храм» — шедевр, заслуженно признаваемый самым читаемым в мире произведением японской литературы. Он основан на реальном событии: в 1950 году молодой монах сжег знаменитый Золотой Храм в Киото. Под пером писателя эта история превращается в захватывающую притчу о великой и губительной силе красоты. Перевод романа выполнен Григорием Чхартишвили (Борисом Акуниным).

УДК 821.521

ББК 84(5Япо)-44

Литературно-художественное издание

ЮКИО МИСИМА
ЗОЛОТОЙ ХРАМ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Марии Антиповой
Корректор Валентина Гончар
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 01.07.2021.
Формат издания 84 × 90 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 16,8.
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-SMP-28520-01-R